

# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

А. Зверев. Поле надежды.— Валентин Курбатов. «Пред очами небесными грозными...».

### ПОЛИТИКА И НАУКА

В. Острогорский. Забвению не подлежат.

## *Литература и искусство*

### ПОЛЕ НАДЕЖДЫ

Виктор Конецкий. Ледовые брызги. Из дневников писателя. Л. «Советский писатель». 1987. 543 стр.

Виктор Конецкий. Рассказы и повести разных лет. М. «Высшая школа». 1988. 399 стр.

Последнее время В. Конецкий стал помещать в своих книгах читательские отзывы о том, что им напечатано ранее. Возможно, кто-то сочтет, что лучше бы ему этого не делать. Однако отзывы уж во всяком случае не комплиментарны. Как раз наоборот. Хотя бы вот такое послание: «Вы не поэт, Конецкий, Вы — нищая трезвость, с малостью души и узостью сердца...» И дальше с прямою обезоруживающей: «...не ищи, Конецкий, оправдания своей тупости, ограниченности, ущербности душевной в войне, холоде, голоде...» (вспомнили, что двенадцатилетним его вывезли из Ленинграда по Дороге жизни). И еще немало в том же роде.

Ладно, две читательницы, сочинившие это письмецо, обижены за Пришвина, который в «Ледовых брызгах» назван скучным прозаиком. На Конецкого многие обижаются — он не дипломат, высказывается без полутонов и несогласных с ним раздражает до крайности. Перецеголяв тех ленинградских читательниц, В. Бушин недавно уличил Конецкого в страсти к порнографии и потайном единомыслии с усопшим португальским диктатором Салазаром. Это уже из области той «творческой полемики», которая на нашей памяти увенчивалась оргвыводами совершенно однозначного характера. Выступление В. Бушина справедливо отнести к экстремистским или, мягче выражаясь, не очень типичным для сегодняшней атмосферы. Однако нервическая реакция на книги Конецкого сама по себе характерна вполне. Свидетельством тому и процитированное письмо, которое автор перепечатывает, воздерживаясь от комментариев.

Зачем? А затем, думается, что ему, автору, очень хорошо известно, как устойчив

взгляд на его писания, в этом письме выраженный. Оглядываться на такие мнения он, конечно, не станет, но привести их счел уместным, потому что в них схвачено (хотя оценено крайне тенденциозно) нечто действительно существенное для его прозы: нелюбовь к тому, что возвышенно именуется литературой, но точнее должно быть названо беллетристикой. Конецкий ведь и пытается перейти ее границы не в жанровом отношении только, но в том смысле, что «литература», по этой логике, есть непременно выпрямление, приглаживание, обеднение реальной жизни, куда-то ускользающей, даже предполагая безукоризненное мастерство.

Книги Конецкого буквально пестрят нападками на литературу: и «Соленый лед», и «Третий лишний», и «Ледовые брызги». Без тени печали готов он распрощаться с «сюжетами, фабулами и внешним действием», вообще со всей «художественностью». Конецкий не колеблясь предпочел бы ей хороший диктофон, так как диктофон по крайности избавит от того «обмана недоразвитых», который раз за разом получается на бумаге, где все «ложь, ложь, ложь...».

Тут давняя тема Конецкого и давняя его боль. Не каждому читателю дано эту боль слышать. Чаще возмущаются. Да и как не возмутиться? Его, читателя, столь старательно отучали от трезвого взгляда на вещи, что, встретив эту вызывающую трезвость в литературе, он просто должен заподозрить тут душевную нищету, если не что похуже. А Конецкий прямо-таки провоцирует подобные подозрения, раз за разом повторяя, что не верит ни в какие «художественные фантазии, сочиненности, вы-

думанности», хватит того, что годами «суют ложь и в глаза, и в уши, и в нос, и даже в вены — уколы какой-нибудь глюкозы...».

Это из «Третьего лишнего», книги, вышедшей пять лет назад. Дата важна: ощущение усталости от лжи, теперь почти всеобщее, Конецкий распознал в себе давно, принял как писательский долг и, не дожидаясь, пока прорвутся плотины молчания, попробовал собственными силами осуществить прорыв к реальности.

Дело это оказалось трудным, и не только по условиям времени, но и по причине инерции некоторых представлений о литературе, не ладивших с подобной задачей, так что их пришлось преодолевать и долго и мучительно.

Перечитывая сейчас книги, которыми Конецкий начинал, достаточно ясно обнаруживаешь его литературные истоки. В них атмосфера, обозначившаяся после 1956 года, — романтическая, с изрядной примесью тогдашней наивности и больших ожиданий, хотя ветер перемен уже слабел, угасая на глазах. Та атмосфера в писательской биографии Конецкого оставила по себе память «Завтрашними заботами», «Повестью о радисте Камушкине», другой повестью — «Кто смотрит на облака». Они принадлежат той именно беллетристике, которую Конецкий теперь не обинуясь именуется ложью, хотя это совсем не самое точное слово, по крайней мере применительно к собственным его старым книгам. Лжи, которая лезет в глаза и проникает в вены, там, конечно, вовсе не было, но была схематичность, по-своему выразительно говорящая о времени, когда это писалось, — не слабая оттепель, а, как тогда верили, буйная весна. И это вот долгожданное половодье кружило головы, настаивая не замечать толщины выросших льдов. Главное, что они подались, а солнце само докончит дело.

Много лет спустя один знакомый Петра Ниточкина, любимого героя Конецкого, заметит: «Удивительная судьба у нашего поколения. Мы начали бурно дряхлеть, так и не повзрослев: морщины на лбах, пальцы на автоматических кнопках, а все шуточки да прибауточки...»

Подразумевается поколение военных мальчишек, тех, кто переживал звездные часы молодости на исходном для прозы Конецкого рубеже 50-х и 60-х. В их отношении к жизни не все были шуточки, однако что-то неискоренимо подростковое действительно было.

Конецкий отдал дань этому романтизму, иначе не написал бы он «Завтрашних забот» со всеми или почти со всеми форму-

лами, отличающими подобное ощущение мира. Была своя притягательность в столь высоко ценимой ранними его героями свободе быть собой: поступать, как чувствуешь, и говорить, что думаешь, а если подражать, как подражали они Ремарку, то хоть по вольному выбору.

В нынешней категоричной его нелюбви к беллетристике как таковой много личного. Иронизируя над собою, в письме к Юрию Казакову Конецкий жалуется, что в жизни ли, в писательстве «никуда не денешься: идешь по штампу, хотя и ненавижу я его смертельно». Это написано в сентябре 1979 года. Он успел напечатать «Соленый лед», «Среди мифов и рифов» — вроде бы другой уже писатель, но все не оставляет его тревога, что опять получается сплошь беллетристика, пусть и подновленная, подгримированная придуманной им повествовательной формой, которую Конецкий впоследствии назовет «этаким факто-фрагментарно - автобиографически - саморекламным жанром».

Тревога эта чрезмерна даже в отношении старых его вещей, принадлежащих обычной литературе вымысла. Что касается хождения по штампу и вообще «беллетристики», принимаемой за реальную жизнь, то это возникало неотвратимо. Так всегда бывает в периоды начавшихся перемен, когда они еще не очень ясны по своему существу и последовательности и общественное брожение направляется тем самым «духом протеста против всего устоявшегося», который свойствен героям раннего Конецкого, военным мальчишкам, испытавшим, как уже прямо о себе написал недавно автор, «ощущение безнадежного ужаса» в марте 1953-го и, должно быть, еще более сильный шок три года спустя.

К концу 50-х годов у них за плечами был опыт достаточно обширный: «блокада, эвакуация, казарма, погоны, служба, безденежье», — в том письме Казакову Конецкий говорит о самом себе, а мог бы с небольшими изменениями сказать то же самое о каждом из основных своих персонажей. Вероятно, еще и оттого, что опыт накапливался чуть не целиком тяжелый да травмирующий, так пленила их всех недолгая тогдашняя весна, так захватило брожение, ею вызванное.

Лишь через годы на печальных примерах, что были рядом, и на горьких уроках, которые пришлось изведать самим, удостоверяться они, как эфемерен перед силой реальности оказывается живший в них дух протеста и как наивно рассчитывать, будто пошатнет он «все устоявшееся».

Брожение утасло, остались только воспоминания и кое-какие этические формулы, по инерции еще продолжавшие существовать, хотя всего лишь в качестве отвердевшего стереотипа.

А потом пришло состояние, о котором будет сказано: «Мы начали бурно дряхлеть, так и не повзрослев».

Все написанное Конечким после повести «Кто смотрит на облака» было попыткой понять, почему это случилось с его поколением. Вот отчего его книги воспринимаются и как фактография двадцатилетия, которое погасило надежды, не предложив компенсации за растроченный энтузиазм того поколения, и как поиски выхода из тупика, как хроника взросления вопреки обстоятельствам, помогавшим лишь бурно дряхлеть.

...Мемуарный очерк о Казакове Конечкий напечатал в «Ледовых брызгах» в самом конце. А открыл книгу повестью, названной «Никто пути пройденного у нас не отберет». Повесть—дневник плавания в качестве дублера капитана на «Колымалесе» до Певека и обратно. Воспоминания — что-то вроде документального портрета: много писем, цитаты из критики. Отзвуки давних литературных событий. И конечно, россыпь мыслей о писательском ремесле. Но на самом деле и повесть и мемуары об одном и том же: о пути, от которого не отречься.

Повесть и начинается не 22 июня 1979 года, когда «Колымалес» должен отплыть на Мурманск, а ровно за тридцать восемь лет до этого дня. Раскаленное украинское небо над Диканькой, принявшей ленинградских дачников, толпы обезумевших беженцев, горящие эшелоны с ранеными и детьми. Потом вымерзшая комната на канале Круштейна, двор, где штабелем складывают трупы. И только по весне дорога через Ладогу, обстрел, захлестывающая кузова талая вода...

«Пускай это звучит выпренно,— напишет Конечкий,— но мое поколение военных подростков были и есть дети 1941 года: тогда мы научились любить отечество».

То, что предшествовало войне, для этого поколения сохранилось обрывочными образами, которые приобрели отчетливость и сложились в определенную цепочку лишь годы спустя. Так у Конечкого было с детским воспоминанием о молчаливой очереди на передачу в Крестах, где сидел муж тетки. И с другим воспоминанием — первый военный октябрь, убежище напротив Александринки, бульканье в стакане вождя, произносящего по радио историческую речь.

Была заветная тетрадка с фотографией Сталина в белом кителе у южного моря. А через несколько лет — первая седина в шевелюре морского лейтенанта Конечкого: его подчиненный во время выборов зашел в кабину для тайного голосования и просидел там почти час. Оказалось, что бланк бюллетеня он заполнял стихами, посвященными тому, кто «своим гением согревает человечество». Эта формула стояла и на листке, подклеенном к «Краткому курсу», полученному с письменным напутствием от отца писателя, прокурора, по выходе в отставку занявшегося такой литературой. Когда-то отец окончил юридический факультет Петербургского университета.

Зачем всего этого касаться, описывая арктический рейс, каких и до «Колымалеса» Конечкий совершил десяток с лишним? Но ведь повесть ничуть не схожа с путевыми заметками, в действительности это книга итогов.

Задачу свою Конечкий в том и видит, чтобы, по-герценовски выражаясь, распознать отражения истории в человеке, случайно попавшемся на ее дороге. Личное интересно — и автору, и читателю — только как проявитель типического, воссозданного неисправленным документом, каким становится и биография повествователя.

Отсюда вся раздражающая иных «нищая трезвость». Изгнание беллетристики, поскольку сами документы завязывают узлы покрепче не то что фабульных, а настоящих морских. Доверие исключительно к тому, что реально было и оплачено заблуждениями, за которыми тоже скорей история, чем личность автора, и прочно вписано не в один только биографический контекст, а в обозначенный самим заглавием, где местоимение стоит во множественном числе.

Такого у Конечкого прежде не было: ни в «Соленом льде», ни во «Вчерашних заботах». Как вариант названия для «Вчерашних забот» предполагалось — «Контаминация»; Конечкого беспокоило, как бы читатель не усомнился, что имеет дело со знающим человеком, который ничего не выдумал, а просто по-особому соединил увиденное собственными глазами.

Однако никакие контаминации дневника с вымыслом сами по себе решения дать не могли. Его вообще странно было искать в сугубо повествовательной форме, как будто она так уж много значит, если нет за нею готовности к безусловной, до конца выговоренной правде. Когда перед нами «выдуманности», эту неготовность или невозможность скрыть легче, однако в прозе, посто-

янно убеждающей читателя, что она правдива в прямом, буквальном смысле, всякая «сочиненность» оказывается на виду. И уж как тут не возмечтать о диктофоне, раз на бумаге снова и снова выходит «ложь».

В действительности освобождение от вымыслов полностью, без остатка неосуществимо по самой природе литературы. Но осуществимо другое, та «беспощадность в рассматривании самого себя», которую Конецкий ценил у Казакова, связывая это свойство с чеховской выучкой. У него самого оно по-настоящему проявилось только в последней повести. И этим книга сразу поднялась на порядок выше всего написанного прежде.

С Казаковым они спорили чаще, чем соглашались, и спор шел главным образом о том, как добиться, чтобы в написанном «чувствовалась серьезность и жизнь человеческая». Конецкий вспоминает, что казаковские рассказы его «возбуждали и заводили», потому что «на нескольких страницах то как-то медлительно, то мгновенно ощущались и неизбежность, и конечность времени и времен». Сказано несколько романтически, но это понятно: в представлениях Конецкого проза Казакова являлась воплощенной художественностью, а художественность непременно включает в себя романтику и красоту.

«Серьезность и жизнь человеческая» — они, конечно, у Казакова не исчезли, но с годами как-то слабели, вытеснялись отделкой все более виртуозной, но все труднее доказывавшей, что она необходима. Когда он начинал, была в этом избыток красок, своя высокая цель, о которой скажет Конецкий: люди разучились «радоваться чувственному миру», и надо было вернуть утраченное ощущение «плоти жизни, и смерти, и любви, и питья, и охоты». Но время переменялось, пришли иные надобности. А то начало, которое просвечивало у Казакова в таких вещах, как «На полустанке» или «Легкая жизнь», где он намного раньше других сказал о сбежавших из деревни парнях «без святого в душе и сердце», — куда-то оно ушло, заглохло. Не развилось, подмененное все той же «беллетристической», хотя бы и художественной необычайно.

Такие вот испытания выпали на долю писателя, пропитанного атмосферой конца 50-х годов и не нашедшегося, не преодолевшего тогдашних «штампов», когда атмосфера сделалась другой. Конецкий изживал «беллетристику», тесня ее документом, Казаков — добиваясь предельной точности слова, но все это оказались ненадежные противоядия. Прочитав «Соленый лед», Казаков

написал давнему своему адресату: «Все разное у нас», — но по сути все было схоже, если подразумевать не такие частности, как жанр и материал, а творческую да и духовную задачу. Нужна была «беспощадность в рассматривании самого себя», каким сделал тебя пройденный путь во всех его изгибах и перепадах, predetermined историей. А время такой беспощадности мешало, склоняя к ностальгии по ушедшему умонастроению молодости и постепенно внушая горькое чувство несостоятельности, о котором Казаков сказал в интервью за три года до раннего своего ухода: «По мере того, как оглядывался на современную нам жизнь, вера моя в силу слова начала таять. Дошло до того, что я стал недописывать свои рассказы, оставлять их в черновиках...»

Очерк о Казакове назван у Конецкого грустной повестью. Другая тональность звучала бы дико, и не только из-за обстоятельств жизни Казакова, а по той причине, что открывается типичная драма писателя из поколения, к которому они с Конецким принадлежат.

О себе Конецкий тоже ведь пишет не весело: с введливостью, желчью, часто с иронией, но не с тем беспечным юмором, который присущ людям, не ведающим сомнений, что они правы перед миром и перед собой. Этой уверенности жизнь не подарила в том поколении никому, кроме самолюбленных.

Она вообще была скуповата на подарки, правда, сделав Конецкому хотя бы один — море, «поле надежды», как сказано в поразившей его надписи на поморском кресте.

«Зачем же тебе опять море? Зачем бросать кровное дело? Пусть море снится тебе, как мне музыка. Тебе надо забираться поглуше куда-нибудь и работать, работать». Это из письма Казакова. 1959 год.

А вот что через много лет написал Конецкому пестовавший его Виктор Шкловский: «Не растрчивай море, не укорачивай и не уменьшай его, — нам незачем жить, если мы не любим его, и что близко и что далеко. Надо идти дальше, надо опять искать новые земли, завоевывать полюс, такой далекий, что о нем нельзя даже справиться у птиц».

Сам же Конецкий, устав отвечать на вопрос, почему он плавает, выбрал в итоге толстовский афоризм — «энергия заблуждения» — и сказал о нехватке этой энергии как главной причине, толкающей его в путь.

Заблуждение, как это понимал Толстой, в родстве с дерзостью, питаемой сознанием внутренней нескванности и силы. Когда буквально на глазах убывала в обществе

духовная энергия, заблуждение оказывалось притягательно уже как возможный способ сберечь оставшуюся, если не пробудить новую. Прозаик, забрасывающий рукописи, чтобы месяцами мотаться то в Антарктике, то у Игарки, для многих выглядел заблуждающимся в самом прямом смысле слова. Казаков предостерегал его от этого. Но прав был все-таки Шкловский.

Этой правоты долго не понимали. Странствия Конецкого выглядели просто охотой за литературным материалом. Как бы провоцируя подобные суждения, он поставил эпиграфом к «Соленому льду» слова Торо: «Не стоит ехать вокруг света ради того, чтобы сосчитать кошек в Занзибаре», — и выслушал от критиков выражение солидарности с американским философом. Кошек, разумеется, можно было пересчитывать где-нибудь в Купчине. Сложнее было, не покидая родной ленинградской набережной, почувствовать в себе проснувшуюся энергию заблуждения.

Море такого чувства тоже не гарантировало, но поспособствовать ему могло. Однажды Конецкий написал: «Мы любим не воду, а ощущение свободы, которое дарят моря». Похоже на цитату из Экзюпери, однако не стоит обманываться внешним сходством. Романтика здесь далеко не главное. Для Конецкого главным было, строя собственную жизнь как заблуждение, попробовать таким путем уйти от «штампа». То есть справиться с самой трудной задачей, и, понятно, не только литературной, ибо не литературы ради необходимо это ощущение свободы.

В том, что оно легко может оказаться мнимым, Конецкий имел возможность удостовериться чуть не с первого же плаванья. А все-таки он верил, что море воспитывает людей, для которых мир «прост и побеждаем». Они «уже умеют побеждать пространства и скоро победят время». Ремарковские позы, принимаемые ими и на капитанском мостике и в портовом ресторане, придавали законченность стереотипа самому побуждению, заставившему искать в морской службе свободу от тоскливой обыденности, и формам, в которых такое побуждение осуществлялось.

Конецкий стал морским писателем, то есть выбрал для себя ту область литературы, где особенно прочны позиции «беллетристики» со всеми ее вымыслами поверх реальности. От такой литературы почти в обязательном порядке требуют, чтобы в ней была романтика, если не приключенческая, так поэтичная, с красочными картинами и броскими метафорами в духе Грина

или Паустовского. Одолеть это заданное ожидание оказалось делом очень непростым.

Впервые прочитав на Диксоне «Обыкновенную Арктику» Горбатова, Конецкий с трудом подавил в себе желание безотлагательно сообщить автору свой буйный восторг. Пора таких восторгов как будто миновала, однако изобилующими в прозе этого толка поэтическими истинами Конецкий опьянялся еще долго — свидетельствами тому «Соленый лед», даже «Третий лишний», книга сравнительно недавняя. И когда наступала минута подобного опьянения, то машинка выстукивала что-нибудь вроде: «Оно умеет заглядывать в душу, это мокрое соленое существо, которое движется всегда, которое не знает, что такое покой, которое никогда не может удобно улечься в жесткое ложе своих берегов».

Выспренность эта может нравиться или не нравиться, но, во всяком случае, избавляться от «беллетристики» она не помогает никак. Скорее наоборот. Всего любопытнее, что страницей выше или ниже можно было с уверенностью ждать заявлений, дискредитирующих сочинительство как писательскую установку.

Как одно с другим уживалось? Не странно ли, развенчав «выдуманности» теоретически, тут же демонстрировать законченные их образцы, да нередко еще впадая в литературность довольно откровенную, на грани имитации если не Грина, так, к примеру, Мелвилла или Конрада?

Пожалуй, не так странно, как неизбежно. И причина, думается, не в силе традиции, от которой морскому прозаику полностью не уйти. Причина в трудной совместности начал, сталкивающихся на «поле надежды», которое Конецкий бороздит вот уже четыре десятка лет. Один читатель, старый капитан, прислал ему стихи, призывающие рассказать в новой книжке про «ночные бденья и как моряк находит вдохновенье в стихии и в себе самом», про чудиков, «которые по волнам вечно бродят», про тех, у кого «меж жизнью и мечтой еще не стерлись кранцы». Капитан воспринял Конецкого правильно.

«Душа... просит красоты с тем большей тоской, чем труднее обстоятельства». Эту запись Конецкий сделал в дневнике где-то возле устья Лены. Как ни удивительно, мысль явилась по прочтении «Пошехонских рассказов». Они восхитили чувством смешного, которое всегда в цене как «одна из инстинктивных форм самозащиты и самоспасения». Но «эстетическую ариаднину нить искусства» Щедрин потерял, потому что действительность злила его «до коллик»,

меж тем как в ней всегда таится красота, пусть «растворенная в сложной смеси, как золото в морской воде». Для Конецкого неприемлем художник, который не старается ее из этой смеси извлечь.

Чтобы так читать Щедрина, нужна особая душевная настроенность, и не минутная, а привычная, как привычно ощущение простора, вольности и красоты, которые рядом, за кормой и по борту, среди «штормов и льдин». Так выразился в своих стихах капитан Антонов. Конецкий выразился более литературно, хотя сказал, собственно, то же самое: «Да, как бы фанфаронски это ни звучало, но надо идти навстречу жизни, надо идти на нее грудью, подставлять себя под поток ледяной лавы. И тогда хотя бы на мгновение чувствуешь крепость в ногах».

Воистину «море есть поле надежды». Но если бы таким утверждением у Конецкого все и кончилось, его книги сохраняли бы интерес только как эстетически более современный вариант литературной, кинематографической и песенной продукции, в которой усердно сотворяется легенда о чарах Севера, о «счастье трудных дорог» и т. п.

По счастью, этого не произошло, и не только художественный вкус охранил Конецкого от таких соблазнов, прежде всего удержала его от них «нищая трезвость», развившаяся с годами. Она помогла его прозе обрести качество исповеди, а исповедь сделала документом, которому можно доверять, даже когда он конструируется из вымышленного пополам с действительно бывшим.

Пусть присутствие в нем вымысла никого не смутит. Как бы ни старались превратить прозу в чистую фактографию, сделаться ею она не может, не перестав быть собой. Дело совсем не в том, сколько, по обыденным меркам, реального, а сколько нафантазированного в повестях, условно определяемых Конецким как путевые записи. Что гадать, на самом ли деле посетил Институт красоты капитан Фома Фомич Фомичев, этот «забубенный Бурбон» из «Вчерашних забот», и вправду ли ему там сводили непрестижную татуированную русалку на груди? Придуманное, «беллетристика», точно так же несет на себе печать времени, как любой бесспорный факт, к нему относящийся. И говорит о времени по-своему не меньше, чем самые достоверные свидетельства.

Важно другое — умение почувствовать, когда «беллетристика» начинает мистифицировать реальность, и способность освободиться от отвердевших иллюзий, сколь бы искренними они ни были. Это трудно,

в особенности для поколения, к которому принадлежит Конецкий, потому что иллюзии, создававшие романтическую жизненную установку, у причастных к тому поколению сохранялись слишком долго и довольно успешно защищали от давящих бесцветных будней. Потом от них защищал юмор, обращенный вовне, а со временем и на самих себя, но давнего умонастроения, объективно потерявшего под собой почву, все же не поколебавший сколько-нибудь серьезно.

Был еще непродолжительный период, который Конецкий зафиксировал в «Третьем лишнем», — усталость и отчужденность, сознание собственной ненужности, даже нелепости рядом с прагматиками.

И только теперь, видимо, с «беллетристической» было действительно покончено. И уже нет причин грезить о диктофоне. Принесла свой плод «нищая трезвость», не покидавшая Конецкого и те десятилетия, что странствовал он среди мифов и рифов, но как-то стыдливо прятаясь, точно ей не место рядом с поэтическими воспарениями. Теперь без груза недоговоренности на душе можно оглядеть пройденный путь, с этой точки обзора высветившийся чем-то новым, глубоким, гордым, горьким, щемящим, чем-то сладким, отчаянным, веселым, тоскливым... Обернись назад, взгляни в свой кильватерный след, вспомни: сколько чего за кормой осталось — это все твое, и никто того не отберет...».

А осталось в кильватере на самом деле много чего, с той блокадной зимы начиная и даже раньше, с той молчаливой очереди на передачу. Осталось ощущение непрерывного голода, не притупившееся и в курсантские годы, остался еще не взорванный собор на берегу Невы, который на средства, собранные всей Россией, построили в память погибших при Цусиме. Остались облезлые сфинксы разбомбленного Египетского моста, под которыми так славно было почитать «Кавалера Золотой Звезды». И Северный флот, беседы с матросами про дубовые лесополосы, приближающие к коммунизму, подъем затонувших в войну кораблей союзников, откуда на родной спасатель волокли что получше вплоть до стульчаков. И пальба с тральщиков по белым медведям, и Новая Земля в тот год, когда там испытали нашу водородную бомбу. И Колыма, «центр всех скорбей». И чукотский берег — «такая мразь жизни, пьянство, очереди за вялым пивом и гнилыми папиросами, что и носа туда нет охоты высывать».

Почти обо всем этом прежде было про-

сто нельзя написать, но помнящие «Вчерашние заботы» и «Третьего лишнего» знают, что Конецкий и тогда старался прорывать молчание или хотя бы ничего не приукрашивать. Любимый его Фома Фомич дорогого стоит, тем более по тому времени, — яркий был тип службиста-приспособленца, неуязвимо со всех сторон, поскольку закон бюрократического мышления простецким своим умом освоил он накрепко, вписавшись в эпоху так органично, как умели одни лишь эти великие мастера перестраховок с тройным запасом. Конецкому вообще свойственно замечать то, что долгие годы замечать не полагалось. «Какой простор!» — восклицали (и, может быть, даже искренне) туристы, которых его теплоход доставил на Енисей, а Конецкий видел только растянувшуюся на сотни километров ржавую полосу вдоль берега, бревна, упущенные с плотов. Настроившимся на «полярную героика» лучше было закрыть его книги. В них героика о себе уж во всяком случае не кричала. А когда требовалась по-настоящему, то почти неизменно для того, чтобы справиться с порядками, которые на «поле надежды» наносили ущерб пострашней любых природных бедствий.

Конецкий говорил это с возможной по тогдашним условиям прямоотой, так что не разоблачениями, на которые ныне кто не смел, выделались его «Ледовые брызги». Выделались они чувством пути, увиденного во всей его протяженности, без пропусков, без вымыслов, питаемых чуть ли не инстинктивным нежеланием полной истины. И без того, что Конецкий определяет как «неправдашный театр», в пристрастии к нему видя свойство своего поколения.

Можно назвать это не театром, а как-нибудь иначе: той же беллетристикой, или выдумыванием самих себя, или хождением по штампу, которое принимают за строительство личности, — вариантов много. Иронизировать или обличать тут всего легче, благо время сейчас другое, а так и тянет самому себе внушить, что пять, даже пятнадцать лет назад ты уже внутренне соответствовал сегодняшнему взгляду на недавнее наше прошлое, не выказав этого тогда только из-за препятствий, не твоей волей устранимых. Тех, кого Фридрих Шлегель когда-то метко назвал «пророками, предсказывающими назад», уже предостаточно, и число их, вне сомнений, будет множиться, поскольку нет более удобного способа оправдаться за все в минувшем.

Но Конецкому не нужны оправдания — и не оттого, что он был умнее и лучше остальных (хотя и видел острее, чем многие),

Не нужны они, как не нужна и обличительность, просто по той причине, что прямые жизненные дороги существуют только в убогом воображении, а реальный путь всегда искание, которое не обходится ни без иллюзий, ни без тупиковых состояний, преодолеваемых с нештучной болью.

Отобрать этот путь не сможет никто, но можно — и даже очень легко — его исказить пристрастным рассмотрением. Честность взгляда с неба не сваливается, ее приходится устанавливать как норму. И дело это никак не минутное — ни в нравственном смысле, ни в художественном.

Наверное, документ, если под ним понимать, как Конецкий, запись по следам прожитой автором жизни, — средство для таких целей и вправду действенное, хотя, конечно, не единственное. Впрочем, и оно становится действенным, лишь когда выполнены по меньшей мере два условия. Одно из них — способность видеть в себе не prima donna, а только голос из хора. Но еще важнее второе: не столько даже умение, скорее безусловно для себя принятая этическая обязанность восстанавливать правду, как она понималась в той, давно отшумевшей жизни, а не с поправками, вносимыми задним числом. Искус выглядит целомудреннее своего века велик, но вспомним Пушкина: «Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют».

Конецкий на лавры беспорочного провидца не претендует. Ему вполне достаточно осознавать себя человеком в потоке движущегося времени, которое приносит поучительные опыты, а с ними — духовное развитие, не признающее завершений. Такой выбор привлекателен многим, но главным образом тем, что, ставя заслон фикциям и ретуши, позволяет выразиться самому времени, прошедшему через конкретную судьбу. Является действительность, какой она реально была в эту нелегкую пору. Значит, можно спокойно выслушать упреки типа: «Вы не поэт».

Ну а «поле надежды» — оно, конечно, останется для Конецкого, даже если он никого не разыгрывает, уверяя, будто написал свою последнюю морскую книгу. В той поморской надписи сказано ведь еще вот о чем: «Тот, кто бороздит море, вступает в союз со счастьем». Перед мудростью поморов бессильны любые фомичевы, сколько их ни попадалось Конецкому от полюса до полюса. И не стоит удивляться, если он все же отправится на Занзибар пересчитывать тамошних кошек.

А. ЗВЕРЕВ.